

Дмитрий АНИКИН

Родился в 1972 году в Москве. По образованию математик. Предприниматель. Член Союза писателей XXI века.

Публиковался в журналах и альманахах «Нижний Новгород», «7 искусств», «Новая Литература», «Перископ-Волга», «Арина», «Поэтоград» и других изданиях и сетевых ресурсах. Автор книг «Повести в стихах», «Сказки с другой стороны», «Нечетные сказки».

Лауреат конкурса «Золотое перо Руси». Шорт-лист конкурсов MyPrize, «Мыслящий тростник».

Живет в Москве.

ПЯСТ. КОШМАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Тот, кому стать бы эпигоном модернизма, оказался по времени если не в первом, то в первых рядах. Не диво, что ему было так неуютно.

Пяст* был потомком польских королей. Во всяком случае, он так думал. Ему очень шло быть нищим королевских кровей.

«Водянисто-белое, неподвижное лицо. Голова откинута назад, глаза полузакрыты», – писал о внешности Пяста Георгий Иванов.

А ещё всем запомнились клетчатые, какого-то диковинного диккенсовского покрова брючки.

Во многих воспоминаниях о Пясте совершенно, как будто её и не было, обходится вниманием поэзия. Получается персонаж Серебряного века, участник событий и скандалов, друг Блока. Поэт? Нет, не слышали.

А Пяст писал свои безупречные стихи. Слишком безупречные для того, чтобы быть живыми.

От чтения стихов Пяста возникает ноющее, тревожное ощущение: вроде и чувствуется, что была рядом поэзия, но воплотиться в слова не смогла, только бросила на них сомнительную тень.

Пяст был обследованным, «дипломированным» сумасшедшим со склонностью к самоубийству.

Душевная болезнь была не к смерти – наоборот, она спасла своего владельца от фронтов Первой Мировой. Пяст называл свой недуг «нервной инфлюэнцей».

После всех попыток самоубийства умер он от рака лёгких.

Сюда нередко вхож и част
Пястецкий, или просто Пяст.
В его убогую суму
Бессмертье кинем и ему.

* Пяст (псевдоним; настоящая фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик, литературный критик, теоретик стихосложения.

Так написал другой классический сумасшедший Серебряного века – Хлебников.

Вот только Хлебников смог приспособить своё сумасшествие к делу.

А Пяст... Что Пяст? Действительно расщедрились, накидали ему бес-смертья: не поднять убогую суму, Святогорову котомку. Такая эпоха – Серебряный век: все, кто хоть краешком зацепил, нам дороги. А Пяст по центру гулял.

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!

Это стихотворение Блок посвятил Пясту.

Место в истории русской поэзии досталось Пясту за дружбу с Блоком. Это не совсем справедливо. Совсем уж несправедливы были разговоры о том, что Блок окружает себя ничтожествами.

Блок окружал себя не ничтожествами, Блок окружал себя героями Достоевского. Вся эта гоп-компания – Евгений Иванов, Зоргенфрей, Пяст – они шатались вслед за Блоком по грязным питерским кабакам, танцевали с проститутками последнего разбора, пили, пили, пили.

И казалось, созируется из дымного небытия этакий коллективный Фердыщенко. Вот сейчас откроет наглые, навывкате, глаза, окинет компанию насмешливым взором и начнёт рассказывать по правилам рокового пети жё такие похабные истории, которые только и годятся что для поэзии. О доблестях, о подвигах, о славе...

Пяст ввёл в русскую поэзию форму ноны: итальянское девятистишие, достаточно редкое, чтобы заинтересовать одинокого оригинала, и достаточно ненужное, чтобы не заинтересовать более никого.

И уж ввёл так ввёл, целую «Поэму в нонах» написал.

Рассказ мой в трёх словах изобразить легко:
Младенцем я был хил, болезненно способен;
Мечтами юности ширял я далеко,
И был как Донкихот беспечен и беззлобен.
Натура нервная, я принял глубоко
Всё, чем в России год усобиц был утробен
(Год Витте, Дурново, Иванова и Ко);
В чужих краях меня загрызла до психоза
Тоска по родине. – Всё «умственно» и проза.

Действительно, всё умственно и проза. Неплохо и даже не без проблем-сков чего-то настоящего.

Кто только ни жил в доме Мурузи – была там своя квартирка и у Пяста. Жил у подножия Башни.

Было что-то связывающее, рифмующее Пяста и Мандельштама. Связь была не братьев, но двоюродных братьев, а рифма консонансная, то есть совпадало всё, кроме главного, кроме ударных гласных.

Над Мандельштамом смеялись все. Над Пястом – все, кроме него самого. В смехе над Мандельштамом то тут, то там прорывались пре-клонение и любовь. В смехе над Пястом не было никакого второго дна, только желание потешаться. Мандельштам иногда обижался на шутки, но попробуйте по-настоящему обидеть гения... Обидеть Пяста было легко.

Много чего у Мандельштама и Пяста было общего – в том числе, любовь к сладкому.

«Кошмарный человек читает “Улялюм”», – писал о Пясте Мандельштам. Пяст не был просто чтецом стихов Эдгара По. Тут можно говорить о чём-то большем. О реинкарнации? Они ведь даже внешне были похожи. А если бы Пяст больше пил, то сходство стало бы совершенным.

Впрочем, современники, которые знали внешность Пяста не по фотографиям, считали, что он похож на Данте.

Георгий Иванов вспоминал, как Пяст читал свои стихи об Эдгаре По:

Начало аудитория слушала молча. Потом, при имени По, начинали посмеиваться. Когда доходило до строфы, которую запомнил и я:

И порчею чуть тронутые зубы –
Но порча их сладка –
И незакрывающиеся губы –
Верхняя коротка –
И сам Эдгар...

– весь зал хохотал. Закинув голову, не обращая ни на что внимания, Пяст дочитывал стихотворение, повышая и повышая голос – до какого-то ритмического вопля.

Ежегодно 6 октября, в день гибели Эдгара По, Пяст поминутно восстанавливал смертный путь поэта, каждый раз надеясь, что уж теперь-то получится его защитить, спасти, заслонить от ножа убийцы своим эфирным – или как там у мистиков называется – телом.

На кресло у огня уселся гость устало,
И пёс у ног его разлёгся на ковёр.
Гость вежливо сказал: «Ужель ещё вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, сёр».

А эти блоковские стихи с эпиграфом из Эдгара По разве не были вдохновлены Пястом? И кто, как ни Пяст, заслуживал такого невозможного в русском языке слова – «сёр»!

Мистика Серебряного века была карикатурной. Пяст был идеальной карикатурой на карикатуру, так что даже жутко становилось.

Теоретизирования Пяста о природе стиха казались смешными профессиональным филологам, но это не мешало его упорной работе.

Пяст оставил воспоминания. Интересные факты об интересных людях. Читаешь и не понимаешь, почему же так скучно. Только раз позволил себе Пяст оригинальность, когда вспомнил «упоительно-умные зубы» Андрея Белого. Написав это, он тут же раскаялся и поспешил извиниться, признав фразу глупостью.

Пяст писал, что как-то, разоткровенничавшись, Ремизов сказал ему: «Сплетня очень нехорошая вещь – вообще, в жизни, в обществе; но литература только и живёт что сплетнями, от сплетен и благодаря сплетням». Не послушал Пяст совета. Вон старый знакомец его, Георгий Иванов, – сплетничал, как саратовская кумушка, завирался, как депутат Государственной думы, а досплетничался, доврался в конце концов до самой последней правды об эпохе и её насельниках.

Была любопытный случай на Башне у Вячеслава Иванова. Жандармы ворвались на одну из знаменитых сред, обыскали всех участников –

с выворачиванием карманов и прочими прелестями защиты государственного строя; забрали мать Волошина (не за политику, а потому, что она была в брюках) и ретировались.

Когда участники собрания, вдоволь обсудив случившееся, стали расходиться, выяснилось, что у Мережковского пропала шапка. Хорошая, дорогая, недавно купленная.

Дмитрий Сергеевич, лишившись головного убора, получил превосходный повод для публицистики, и на следующий день в газете появилась статья, где, обращаясь к премьер-министру Витте и делая далеко идущие политические выводы, Мережковский требовал вернуть шапку.

Ничем бы эта история не была примечательна, если бы через несколько дней не нашли завалившуюся за шкаф шапку.

Такой вот – в добром, старинном значении слова – анекдот.

Пяст был одним из многих, кто не упустил возможность описать историю с шапкой.

На протяжении нескольких страниц убористым шрифтом длится обыск. Читаешь – и уже хочется понукать нерадивых жандармов, а они только вошли во вкус. Копошатся, как сам автор очерка. Наконец-то жандармы уходят. Уфф! – насилу-то выпроводили из квартиры и из текста.

Мережковский пишет журнальную статью.

А вот всю соль истории – найденную шапку – Пяст забывает.

Пяст обильно и успешно переводил. Казалось бы, при его вкусах он должен был оставить множество переводов из «безумного Эдгара», – но нет, Пяст считался специалистом прежде всего по испанской литературе. Многие пьесы Тирсо де Молина до сих пор публикуются в его переводе.

Профессиональный чтец, Пяст создал целую школу декламации. Он негодовал на современную ему артистическую манеру чтения:

С нарочито-подчеркнутой невыразительностью, с одной стороны, и с тем самым виртуозно-скороговорчатым проглатыванием рифм, стиха и строфы, которое составляло тогдашнюю гордость некоторых актёров.

Пяст учил читать стихи как стихи, а не как испорченную прозу.

Будучи поэтом, Пяст понимал, что «музыка музыки» и «музыка поэзии» – «враги-близнецы». Он учил передавать чтением собственную музыку стиха, а не привносить музыкальную отсебятину.

В самом деле, есть ли худшее издевательство над поэзией, чем романсы Чайковского? Вся пушкинская ритмика намерено изничтожена, никакого акцента на рифмах не делается. Пушкинские слова остались, а о пушкинской поэзии и помина нет.

О декламациях Пяста сохранились противоречивые отклики. Брюсов признавался, что до пястовского прочтения сам не понимал, что заключено в его собственных стихах. А вот Георгий Иванов утверждал, что Пяст читал из рук вон плохо, постоянно и самозабвенно задыхаясь.

Во время Первой мировой человек культуры, завязтый западник, Пяст обратился в воинствующего патриота. Надо быть Пястом, чтобы даже в этой роли остаться смешным чудачком.

Поэма «Двенадцать» прекратила дружбу Пяста с Блоком. Непонятно, что Пяста больше возмутило: то, что он посчитал оправданием большевизма или формальная расхлябанность поэмы?

Свой досуг и каждый свободный клочок земли
По-прежнему всякий старается заполнить семечками,
Поклявшись не оставить незаплёванным ни клочка своей родины...

Так писал Пяст о блоковских героях.

Это был обычный спор правды с гениальностью, где у правды никаких шансов нет, но в конце концов оглядываешься и видишь: всё заплёвано так, что ступить некуда. «Слопала-таки... как чушка своего поросёнка», – незадолго до своей смерти говорит Блок о России, о правде, о поэзии, а верней всего, обо всём сразу. Не до тонких разделений, когда жрут. Может, и вспоминал о Пясте перед смертью.

Пяст был человеком чести. Когда даже в эмиграции пошла диффузия ценностей и иной человек с принципами и совестью начинал поглядывать на большевиков без прежней ненависти и задумываться о смене вех, Пяст сохранял лютую непримиримость.

С другой стороны, каждодневно видя большевиков, легче не соблазниться о них.

Кем ещё был Пяст? Прообразом некоторых персонажей блоковской драматургии? Придал некоторые смешные черты, помимо автобиографических, Парноку из «Египетской марки»? В общем, как-то растворился в воздухе русской литературы.

Пяст был в 1930 году арестован. По 58-й статье. Остаётся только порадоваться, что невиновный человек отделался ссылкой. В 1932-м пошли слухи, что Пяст покончил с собой. Появились некрологи в эмигрантских газетах. Но ссылку Пяст пережил, стараниями друзей был в 1936-м возвращён в Москву, в 1937-м его не тронули, чтобы в 1940-м он наконец-то умер и лёг на Новодевичьем кладбище.

Михаил Леонович Гаспаров считал, что литературные направления стоит изучать на примере второстепенных писателей, первостепенные слишком много своего собственного привносят.

Эпоха тоже яснее всего видна в судьбах людей дюжинных. Пяст – прямо-таки пособие по истории Серебряного века: человек, который был рядом со всеми, но сам так и остался никем.

«В иных веках, в иной отчизне, как нежно славим был бы я», – писал Сологуб. А вот с Пястом всё наоборот. Только в Серебряном веке такой человек мог оставить след, хоть как-то состояться.

Среди множества жертв эпохи оказался один бенефициар.